

НАДИН НОЙЗИ



ИСТИННАЯ ПАРА
ДЛЯ ЛОРДА-ДРАКОНА

Надин Нойзи

Истинная пара для лорда-дракона

«Автор»

2026

Нойзи Н.

Истинная пара для лорда-дракона / Н. Нойзи — «Автор», 2026

Я - попаданка с Земли в магический мир, старая дева 35 лет без надежды на семью и счастье. Я давно уже поставила крест на своей личной жизни, решила, что буду жить в одиночестве. И думала так до тех пор, пока ко мне не приехал кузен с семьей и близким другом.

© Нойзи Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	10
Глава 3	13
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Надин Нойзи

Истинная пара для лорда-дракона

Глава 1

Сад встретил меня запахом прелой листвы и молодой зелени – этот удивительный, щемящий коктейль из тления и рождения, от которого всегда немного кружится голова. Земля после вчерашнего ливня еще не просохла, и подошвы моих мягких туфель из оленьей кожи чуть вязли в тропинке, оставляя темные влажные следы, которые тут же начинали поблескивать на солнце. Я нарочно выбрала эту узкую дорожку, что вилась вдоль старой кирпичной стены, увитой прошлогодним плющом, где солнце пробивалось сквозь только что распустившуюся листву яблонь не цельным потоком, а рваными золотыми заплатками, лоскутным одеялом из света и тени.

Мне было тридцать пять. Я шла медленно, почти бездумно задевая ладонью влажные, еще не просохшие ветки кустов, и на пальцы, на тонкое запястье осыпалась мелкая, ледяная роса, заставляя кожу на мгновение сжиматься. Воздух стоял густой, терпкий – его можно было пить, как настойку, с горчинкой только что проклюнувшейся крапивы, пряным духом смородинового листа и приторной, тяжеловатой сладостью первых распустившихся нарциссов, что росли беспорядочной куртиной у стены. Где-то далеко за спиной, в доме, уже звякали посудой, накрывая завтрак в малой столовой, горничная Лиззи, наверное, уже обыскала меня, заглядывая в библиотеку и зимний сад, но я строго-настрого велела не беспокоить. Мне нужно было это утро. Как воздух. Это небо, вымытое дождем до бледной, прозрачной голубизны, до хрустального звона. Эта тишина, в которой каждый звук – шаги, дыхание, шелест листа – становился оглушительно важным.

Я остановилась у старой чугунной скамьи, что стояла в самом дальнем, диком углу сада, откуда сквозь поредевшие кроны виднелась черепичная крыша моей конюшни и, далеко-далеко, тонкий, как игла, шпиль столичного Собора Четырех Ветров. Села, поправляя тяжелые юбки своего серого утреннего платья, и подставила лицо неяркому, еще совсем не греющему солнцу. Графиня Эльза горт Торкен. Собственный дом в пригороде, с конюшней и выездом, не нуждающийся в деньгах родовой замок в горах, где в залах гуляют сквозняки, полная лояльность столичного света и эта самая полная, абсолютная, выстраданная годами свобода. Я могла делать все, что захочу. Уехать завтра на юг, к морю, закрыться в библиотеке на месяц с книгами, принять у себя опального поэта или пренебречь визитом самого посла. И что? Все это у меня было.

Мысли текли медленно, вязко, как этот плотный весенний воздух. Я смотрела, как на мокрой земле у моих ног суетится муравей, тащит какую-то былинку, спотыкается, падает, но упрямо лезет вперед. У него есть цель. Я думала о том, что скоро, через неделю-другую, белым-бело зацветут вишни, и сад станет похож на сказку, на день чьей-то невесты, на пену от кружев. В прошлом году я сидела здесь же, на этой скамье, и смотрела на этот невесомый, падающий снег из лепестков, и мне было удивительно хорошо и спокойно. Я думала: вот она, благодать. А в этом году спокойствия не было и в помине. Была тихая, вязкая грусть, которая пришла неизвестно откуда – может быть, с этим запахом прелых листьев, с этой утренней сыростью – и устроилась в груди, под самым сердцем, теплым, ноющим комком.

У меня не было мужа. Не было детей, которые сейчас бегали бы по этим мокрым дорожкам, шлепая по лужам своими маленькими башмачками, смеясь и, наверное, отряхивая на меня воду с веток. Не было и, кажется, уже не будет. Я слишком долго была разборчива, слишком долго, как драгоценную вазу, оберегала свой покой и возможность читать по ночам, ни

перед кем не отчитываясь, никому не принадлежа. А теперь покой стал слишком... пустым. Слишком гулким.

Я смотрела на свои руки, спокойно лежащие на темной ткани платья. Руки красивые, белые, с длинными пальцами, ухоженные – гордость моего маникюра. И совершенно голые. Никогда не было кольца. Ни обручального, ни даже простого колечка, подаренного влюбленным юношей. Я могла бы выйти замуж лет в двадцать, за соседа по поместью, славного такого, простого, как три копейки, молодого человека с рыжими усами и круглыми, чистыми, как у теленка, глазами. Он смотрел на меня с обожанием, дарил полевые цветы и звал гулять к реке. Но мне, воспитанной на балладах и романах, казалось, что впереди, за горизонтом, ждет что-то огромное, всепоглощающее, настоящая любовь, от которой захватывает дух и ради которой бросают все. Любовь не пришла. А он, мой рыжий сосед, женился на другой, на дочке лесничего – простой, румяной, хохотушке. И у них уже трое. Я видела их на ярмарке прошлой осенью – она, полная, разрумянившаяся от мороза и сидра, держала за руку младшего, карапуза в огромном вязаном колпаке, а он нес на плечах старшего мальчишку, который колотил его пятками по груди и визжал от восторга. И счастье было не в красивых словах, а в их суете, в их громких, перебивающих друг друга голосах, в том, как она, смеясь, поправляла ему сползающий с шеи толстый шарф. В том, как она на него смотрела. Без надрыва. Просто как на своего.

Вот этого у меня не было. И не будет. Эта мысль стукнула в виске, острая, как зубная боль, и отдала куда-то в грудь.

Я вздохнула глубоко, до самого дна легких, и подняла глаза к небу. По нему, лениво потягиваясь, плыли редкие белые облака, такие же безмятежные, какой я должна была бы быть. Мысль о том, что поздно, что возраст уже не тот, а проклятая гордость, ввевшаяся в кровь, не позволяет искать встреч, пришла ко мне не впервые за эту весну. Но сегодня она не колола, не ранила, как заноза, а просто лежала где-то внизу живота тяжелым, теплым, почти физически ощутимым камнем. Мне не к кому было спешить. Меня никто не ждал в доме с нетерпением, никто не выглядывал в окно, высматривая мое серое платье среди яблонь. Вечером, как всегда, я зажгу свечи в своей гостиной, и они будут гореть ровным, холодным светом только для меня. Для одной.

Где-то в густых ветвях сирени, еще не цветущей, надо мной заливалась птица – звонко, радостно, захлебываясь, словно дразня весну, дразня меня своим незнанием ни одиночества, ни времени. Я слушала ее и чувствовала, как к горлу подкатывает ком, а на глаза наворачиваются слезы. Не от горя, нет – от странной, щемящей смеси нежности к этому прекрасному миру, который так щедр на красоту, и острой, бабьей жалости к себе, молодой еще, но уже никому не нужной. Я вытерла их кончиками пальцев – соленые, теплые – и через силу улыбнулась. Глупая. Дурочка. Все у тебя есть. Дом, сад, титул, это утро, эта птица.

Но в глубине души, там, где тепло, где должен гореть огонь, я знала, что это неправда. Потому что самое главное, самое простое и земное – быть кому-то нужной, быть чьим-то домом и покоем – у меня отобрало время. Или я сама, своими руками, от него отказалась, заботливо подстригая жизнь под красивую, но бесплодную декорацию.

Тишину разрезал звук. С налившейся влагой ветки яблони сорвалась крупная, тяжелая капля и упала мне на тыльную сторону ладони. Холодная, как ключевая вода в июльский зной. Я замерла, боясь пошевелиться, глядя на то, как дрожит этот прозрачный, чистый шарик на моей коже, вбирая в себя отблески солнца и зелень листвы, а потом медленно, нехотя ссыывается и стекает вниз, к запястью, оставляя влажный, холодеющий след. Так же незаметно и неостановимо утекает жизнь.

Я глубоко вздохнула, прогоняя остатки слабости, твердо провела ладонью по влажному следу, словно стирая его вместе с мыслями, поднялась со скамьи, оправила юбки и медленно, с ровной спиной, направилась к дому, откуда уже доносился слабый запах свежих булочек и горячего шоколада. Сад остался за спиной, со своей влажной свежестью, с птицей, со слезами

и моими невеселыми мыслями, которые я решила оставить там же, под старыми яблонями, пусть идут в рост вместе с травой.

Дом встретил меня теплом и привычной, чуть тяжеловатой роскошью. После утренней свежести сада здесь все казалось приглушенным, устоявшимся, как старая мебель. В прихожей пахло воском, которым натирали паркет, и сухими травами – полынью и лавандой, – которые горничные рассыпали по углам от моли, заворачивая в полотняные мешочки. Стены здесь были обшиты темным дубом, потемневшим от времени до цвета крепкого чая, а на полу лежал тяжелый персидский ковер с потускневшим, но все еще красивым узором, который приглушал шаги, делал их вязкими и неслышными. Я провела рукой по полированной поверхности консольного столика красного дерева – дерево ответило гладкостью и холодком – и замедлила шаг, услышав приближающиеся шаги дворецкого. Торопливые? Нет, для Крампа это было невозможно. Но какие-то другие. Более живые, что ли.

Крамп, старый слуга, служивший еще моему отцу, появился из-за угла бесшумно, как тень, как призрак, который вдруг решил напомнить о себе. Его седая голова с аккуратным пробором была почтительно склонена, но в глазах, выпцветших, но все еще зорких, читалось что-то... необычное. Какое-то оживление, искорка, которой я не замечала за ним в последние месяцы. Даже морщинки вокруг его губ, кажется, собрались по-другому.

– Ваша светлость, – начал он своим ровным, чуть скрипучим голосом, который всегда напоминал мне шорох старого пергамента. – Позвольте сообщить. Прибыл магический вестник.

Я остановилась и вопросительно подняла бровь. Вестники приходили нечасто – обычно счета от портных или бакалейщиков, официальные приглашения во дворец на очередной скучнейший раут, которые вполне могли подождать до завтрака. Но Крамп держал в руке небольшой пергаментный свиток так, будто это был хрупкий цветок, – перевязанный тонкой серебряной нитью, которая еще слабо искрилась, потрескивая в тишине прихожей, словно в ней билась крошечная жизнь.

Крамп протянул мне свиток с легким поклоном. Я взяла его в руки – пергамент был теплым, магия всегда оставляет после себя это странное, живое тепло – сломала печать с гербом нашего рода: горный пик и ветка терновника – и развернула.

Письмо было от кузена. От Маркуса.

Я пробежала глазами по знакомому, немного небрежному, летящему почерку с забавными завитушками на заглавных буквах и почувствовала, как внутри, в самой груди, что-то дрогнуло, сжалось, а потом вдруг ожило, забилося быстрее. Завтра. Они приезжают завтра. Маркус с женой Элинор и всеми тремя детьми. Пишет, что дела призывают его в столицу на пару недель – какая-то тяжба с опекунами над именем дальней родственницы, скука смертная, но деваться некуда, – а останавливаться в городском доме они не хотят: там шумно, пыльно, вечно гремят экипажи под окнами, а детям нужен воздух, зелень, простор. Не соглашусь ли я принять их? Ненадолго, всего на несколько дней, пока он не уладит самые срочные дела. Элинор шлет поклон и обещает собственноручно испечь свои знаменитые булочки с корицей, если на кухне найдется мука.

Я перечитала письмо еще раз, пробегая пальцами по неровным строчкам, и на губах сама собой появилась улыбка – теплая, неожиданная, от которой вдруг защипало в уголках глаз. Маркус. Мы не виделись почти год. Он был младше меня на пять лет, но всегда, с самого детства, относился ко мне с какой-то трогательной, почти рыцарской заботой, словно это я, старшая, нуждалась в защите, а не он. Помню, как он, десятилетний мальчишка, серьезно наказывал мне не ходить одной в лес, потому что там водятся волки. Его Элинор – тихая, милая, уютная женщина с пухлыми руками, вечно испачканными в муке, потому что она обожала возиться с выпечкой назло всем аристократическим обычаям, считавшим такое занятие плебейским. И дети... Я попыталась вспомнить их лица, но они расплывались, менялись, как на

старых, выцветших дагерротипах. Старшему, Рчарду, кажется, уже восемь, он обещал стать копией отца – такой же вихрастый, серьезный не по годам и смешной в своей взрослости. Две девочки, погодки, Анна и маленькая Грета, с мамиными голубыми глазами и светлыми кудряшками, которые вечно лезут им в лица.

Я подняла взгляд на Крампа, который терпеливо ждал, застыв у дверей, как статуя терпения и преданности.

– Наши едут, Крамп, – сказала я, и голос мой прозвучал непривычно живо, звонко, почти по-девчоночьи. – Завтра. Семья кузена Маркуса.

На лице дворецкого ничего не дрогнуло – годы вышколенной службы сделали свое дело, – но я знала его достаточно хорошо, почти двадцать лет, чтобы заметить неуловимое: уголки губ чуть приподнялись, исчезла обычная скорбная складка у рта, а спина, и без того прямая, выпрямилась еще больше, если это вообще было возможно для человека его возраста. В глазах мелькнуло и погасло что-то похожее на довольство.

– Осмелюсь спросить, на сколько дней? – Его голос остался ровным, но я уловила в нем нотку деловой готовности.

– На несколько. Может, на неделю. – Я задумалась, прикидывая, сколько комнат нужно будет подготовить, сколько белья достать из сундуков, сколько свечей заказать. – Детская давно пустует. Стыд просто. Велите проветрить, протопить как следует, проверить постели – не завелось ли чего в матрасах. И проследите, чтобы в комнате Элинора поставили цветы, много цветов, она это любит до безумия. И скажите на кухне... – я запнулась, пытаюсь вспомнить, что едят дети в этом возрасте. Каша? Мясо? Булочки? – Пусть приготовят что-нибудь легкое, но сытное. Куриный бульон, например. И сладкое. Обязательно сладкое. Пирог с яблоками, тот самый, с корицей, что умеет делать Марта. И молоко, побольше свежего молока.

Крамп слегка поклонился, принимая распоряжения к сведению, к исполнению, в самую глубину своей феноменальной памяти.

– Будет исполнено, ваша светлость. Я распоряжусь немедленно. – Он помедлил секунду, словно раздумывая, не нарушит ли приличия, если скажет еще что-то, и добавил чуть тише: – Это прекрасная новость. Дому давно не хватало молодых голосов.

Он удалился своей бесшумной, скользящей походкой, не производя ни звука, ни шороха, а я осталась стоять посреди прихожей, все еще сжимая в руке письмо, чувствуя пальцами тепло, которое магия уже почти оставила. Тишина дома больше не давила на уши, не обволакивала, как вата. Она наполнилась ожиданием, движением, предчувствием жизни. Где-то в глубине коридора уже слышалась приглушенная возня – Крамп, верный своему слову, уже отдавал первые распоряжения, и дом начинал просыпаться, потягиваться, готовиться.

Я представила, как завтра в этой самой прихожей будет шумно, как экипаж загрохочет по гравию подъездной аллеи, как детские голоса – звонкие, пронзительные, счастливые – разнесут эхо по всем углам, по всем этим чопорным, пустым комнатам. Как Маркус будет с порога требовать чаю, горячего и покрепче, а Элинора – извиняться за беспокойство краснея и тут же предлагать помочь с устройством, хлопотать, суесться, наполняя дом своим уютным, домашним теплом. Представила, как мы сядем вечером у камина в малой гостиной, и я буду слушать их новости, их смех, их негромкие споры о том, кто разбил чашку и кому первому мыть голову. Простая, обычная, живая жизнь.

Хотя бы на несколько дней я забуду о своей тихой, вязкой скуке. Хотя бы на несколько дней этот большой, красивый дом перестанет быть просто дорогой, безупречно чистой, но совершенно пустой коробкой, в которой эхо шагов звучит как урек.

Я поднесла письмо к губам и легко, едва касаясь, коснулась его края. От пергамента все еще пахло магией – озоном и легкой горчинкой, – но сквозь этот запах мне чудился другой: запах детских кудрей, корицы, домашнего тепла.

– Спасибо, Маркус, – шепнула я тихо, в пустоту прихожей, и мой голос прозвучал необычно мягко, почти нежно. – Ты даже не представляешь, как вовремя.

И пошла наверх, чтобы лично просмотреть, все ли готово в гостевых комнатах. Дела нашлись, и от этого на душе стало легко и почти празднично.

Глава 2

Я ступила на лестницу, и широкие дубовые ступени привычно зашкрипели под ногами – этот тихий, жалобный звук я успела полюбить за два года. Два года. Неужели прошло всего два года? Мне казалось, я прожила здесь целую жизнь, вращаясь корнями в этот дом, в этот сад, в это медленное течение времени, хотя иногда, в такие вот тихие утренние часы, когда дом еще дышит сном, а солнце только начинает золотить верхушки деревьев, память безжалостно вытаскивала наружу кусочки другой реальности. Той, которая осталась где-то там, за гранью, за тонкой, почти прозрачной пленкой, отделяющей явь от сна.

На Земле меня звали Алина Паринская. Тридцать пять лет, менеджер в крупной юридической фирме, бесконечные договоры, встречи, дедлайны, кофе навынос в пластиковых стаканчиках, от которых вечно пахло горелой пластмассой, и серое, низкое небо над головой, которое не менялось месяцами. Я вспомнила свой офис – стеклянные перегородки, создающие иллюзию прозрачности и открытости, но на самом деле лишь подчеркивающие, что каждый здесь сам за себя, гул голосов, похожий на жужжание встревоженного улья, вечно мигающий экран монитора, от которого к вечеру начинали болеть глаза, и кнопку кофемашины с облупившейся краской, которую я нажимала раз по десять на дню. Хорошая была работа, денежная, престижная, мать бы мной гордилась. Только вот души в ней не было. Как и во всей моей жизни, если честно признаться самой себе.

Родители погибли, когда мне было восемнадцать. Авария. Гололед, встречная фура, и через секунду – тишина на том конце провода, когда мне позвонили из больницы. Я тогда только поступила в университет, радовалась, строила планы, и мир рухнул в одно мгновение, осыпался стеклянной крошкой, порезав руки, порезав душу так глубоко, что шрамы не зажили до сих пор. Дальше была борьба – за выживание, за место под солнцем, за крошечную двухкомнатную квартиру в спальном районе, которую удалось отстоять у дальних родственников, внезапно объявившихся на похоронах и смотревших на меня голодными глазами. Я выучилась, выбилась в люди, научилась улыбаться нужным людям и говорить правильные вещи на совещаниях. Но так и не научилась жить. Просто существовала. Работа-дом-работа. Редкие встречи с подругами, которые давно уже обзавелись семьями, детьми, ипотеками и смотрели на меня со смесью жалости и тайного превосходства. Еще более редкие романы, ничем не заканчивающиеся, потому что я не умела открываться, боялась, доверять, пускать кого-то внутрь, в эту хрупкую, огороженную крепость. Я боялась, что снова потеряю. Что снова останусь одна в телефонной трубке слушать гудки.

Я остановилась на лестничном пролете, где на стене висел старый, выцветший гобелен с охотничьими сценами – всадники в камзолах прошлого века, собаки, затравленный олень с огромными печальными глазами – и провела пальцами по выцветшим, потерявшим яркость нитям. Шерсть была мягкой, чуть ворсистой, хранящей тепло многих зим. Вспомнила тот вечер. Я сидела в своей съемной квартире на двадцать третьем этаже, за окном мигал огнями ночной город, где-то внизу неумолчно гудела трасса, а я пила остывший чай из любимой кружки с отбитой ручкой и листала ленту новостей, скользя взглядом по заголовкам, которые не задерживались в памяти дольше секунды. Обычный вечер. Обычная усталость. А потом – удар в виске, острый, как молния, вспышка света перед глазами, и ничего. Пустота. Тишина. А потом – голоса, чужие, незнакомые, запах воска и сухих трав, и чье-то лицо надо мной, склоненное в тревоге.

Очнулась уже здесь. В этом теле. В этой постели под балдахином, с тяжелыми бархатными одеялами, от которых пахло лавандой. С чужими воспоминаниями, которые нахлынули волной, затопили, едва не свели с ума. С ворохом титулов, обязательств, имен и лиц, о кото-

рых я не имела ни малейшего понятия. Слуги, которые знали меня всю жизнь. Дом, который помнил мои детские шаги. Чужая жизнь, которую мне предстояло прожить.

Сначала было страшно. До дрожи в руках, до липкого пота на спине, до панического желания забиться в угол и закрыть глаза, чтобы исчезнуть, вернуться обратно в свою скучную, безопасную квартиру. Но Эльза горт Торкен оказалась... удобной. Удивительно, но ее жизнь была до жути похожа на мою – та же тишина по вечерам, то же одиночество в большой, холодной постели, те же бессонные ночи с книгой в руках. Только вместо офиса – сад, вместо кофе навынос – неспешные завтраки в пустой столовой под присмотром почтительного Крампа, вместо стеклянных перегородок и гудящих принтеров – вековые стены, помнящие не одно поколение, и тишина, такая густая, что в ней можно было утонуть.

Я пошла дальше, теперь еще медленнее, давая мыслям течь свободно, не цепляя их, не направляя. Забавно, но я ни разу не пожалела о том мире. Ни разу. Даже по кофе не скучала – здешние травяные настои с медом и мятой оказались куда вкуснее, живее, что ли. И по работе этой бесконечной, выматывающей, бессмысленной – тоже. Здесь у меня было время. Время думать, дышать, просто быть собой, не надевая масок. Никто не требовал отчетов, не звонил в неурочный час с идиотскими вопросами, не дергал по пустякам, не устраивал разносов за чужие ошибки.

Правда, и одиночество здесь было таким же, как там. Только там, в бетонных джунглях, среди миллионов таких же одиноких людей, оно ощущалось пустотой – звенящей, холодной пустотой, которую пытаешься заполнить работой, сериалами, бесполезными встречами. А здесь – тишиной. Тонкая, едва уловимая разница, но я ее чувствовала каждой клеточкой. Тишина не давила. Тишина слушала. Тишина позволяла думать.

Я вспомнила свою земную квартиру – двадцать третий этаж, панорамные окна, из которых открывался вид на бесконечные серые многоэтажки, уходящие в дымку горизонта. Уютную? Когда-то я так думала. Вылизанную до стерильности, с идеальным порядком на полках, с диваном, на котором никто никогда не сидел, кроме меня, с кухней, где я готовила ужин только для себя и ела его в тишине, под бормотание телевизора. Ни одной живой души за стеной – только глухой шум лифта и редкие шаги в коридоре. Здесь, в этом доме, было то же самое. Красиво, богато, просторно, до звона в ушах пусто. Та же вакуумная тишина, те же одинокие вечера, та же огромная кровать, в которой я просыпалась по утрам, инстинктивно протягивая руку на вторую половину – и находя только прохладную гладь простыней.

Интересно, это судьба такая – везде, в любом мире, в любом теле оставаться одной? Или я сама выбирала эту пустоту, просто не замечала за бесконечной гонкой, за работой, за усталостью? Может быть, я возводила стены так долго и так старательно, что потом уже не смогла их разобрать, даже когда захотела? Мысль кольнула где-то под ребрами, острая и неприятная, как заноза, которую никак не вытащить.

На втором этаже я свернула в длинный коридор, где располагались гостевые комнаты. Здесь пахло иначе – не воском и травами, как внизу, а деревом, старым текстилем и легкой затхлостью помещений, которые редко проветривают. Окна выходили в сад, и солнце уже вовсю заливало широкие дубовые половицы теплым, медовым светом, играло бликами на потертом паркете, высвечивало пылинки, танцующие в воздухе. Я толкнула первую дверь – комнату, которую всегда готовили для Маркуса, – и остановилась на пороге, впуская в себя этот свет, этот запах, это ощущение приближающейся жизни.

А ведь два года назад я не знала даже, кто такой Маркус. Это имя ни о чем мне не говорило, не вызывало никаких чувств. Чужие воспоминания – странная, почти мистическая штука. Они есть, они лежат в голове аккуратными стопками, как старые фотографии в альбоме. Ты можешь открыть их, рассмотреть, даже потрогать пальцами. Но они не твои. За ними нет твоей боли, твоей радости, твоего детского смеха. Я помнила, как Эльза играла с Маркусом в саду, как они, маленькие, строили шалаши из старых одеял, как ссорились из-за игрушек, а

потом мирились и вместе ели краденое из буфета печенье. Но это было не мое. Это была чужая жизнь, которую я носила в себе, как чужое платье – вроде бы по размеру, но все равно не твое.

А завтра он придет – этот чужой родственник, ставший за два года моим единственным, самым родным. Единственной ниточкой к чему-то настоящему, к чему-то похожему на семью. Странно, да? Через память Эльзы я полюбила его, как брата. Через его редкие письма, через его заботу, через то, как он всегда, даже в самых коротких записках, спрашивал, не нужно ли мне чего, не больна ли я, не грустно ли мне одной в этом огромном доме.

И я ему рада. По-настоящему рада, до щемящего тепла в груди, до желания проверить каждую мелочь, каждую складку на постельном белье, каждую чашку в буфете.

Я улыбнулась своим мыслям – глупая, сентиментальная улыбка вышла – и шагнула в комнату. Проверила, чисто ли в окнах – на стеклах ни пылинки, Крамп не подведет, – отдернула тяжелые шторы из темно-зеленого бархата, впуская свет еще шире, поправила покрывало на кровати, разгладила несуществующие складки. Подошла к столику у окна, провела пальцем по столешнице – ни пылинки. Приоткрыла створку, впуская свежий воздух, и на мгновение зажмурилась от удовольствия: пахло травой, землей, приближающимся летом. Мелочи. Простые, обычные мелочи, которые заполняли время, не давали думать о плохом, не давали проваливаться в ту вязкую, липкую грусть, что накрыла меня утром в саду.

Странно все-таки устроена жизнь – или то, что ее заменяет. Два года назад я умерла в одной реальности и родилась в другой. И ни разу не оглянулась. Ни разу не захотела вернуться обратно, в тот серый мир, в ту квартиру-коробку, в ту пустоту, которую называла своей жизнью. Может быть, это и есть счастье? То самое, неуловимое, о котором пишут в книгах и слагают баллады? Когда прошлое не держит, не тянет назад щупальцами сожалений, а настоящее – принимает таким, как есть, со всем твоим грузом, со всеми твоими шрамами? Когда ты просыпаешься утром и понимаешь, что ты именно там, где должна быть?

Я вышла из комнаты и направилась дальше по коридору, к детской. Нужно было проверить, все ли там готово к приезду малышей. Где стоят кровати, достаточно ли мягкие перинки, не завалялось ли в углах чего опасного. Я толкнула дверь и вошла в просторную, залитую солнцем комнату, где меня ждали две маленькие кровати под полотняными чехлами, старый деревянный конь-качалка с облупившейся краской и смешной мордой, игрушечный шкафчик с пустыми полками и запах сухой древесины, нагретой солнцем.

Я представила, как завтра здесь будет шумно. Как эти кровати застелют свежим бельем с вышитыми метками, как на полках появятся игрушки, как на коня усядется кто-то из малышей и будет радостно визжать, раскачиваясь взад-вперед. Сердце сжалось от странной, сладкой боли.

Работы много, а время до завтра пролетит незаметно. И пусть. Пусть летит. Лишь бы не останавливалось. Лишь бы завтра наступило скорее и принесло с собой шум, смех, жизнь. А там – будь что будет.

Глава 3

После завтрака дом зажил своей особенной, почти забытой суетливой жизнью. Я всегда любила это состояние – когда тишина, тяжелая и плотная, как старое одеяло, наконец отступает перед делом, когда слуги снуют по коридорам с охапками свежевыглаженного белья, пахнущего крахмалом и летом, а на кухне начинают греметь кастрюлями и посудой задолго до обеда, и этот шум разносится по всему дому, проникает в самые дальние углы, будит их от многолетней спячки.

Сначала я спустилась в кухню. Туда, где всегда жарко, даже в прохладное утро, где пахнет луком, специями и дрожжевым тестом, где огромная печь занимает полстены и урчит, как сытый зверь. Старая Марта, королева плиты и моя главная советчица во всех вопросах, касающихся еды и жизни вообще, встретила меня хмурым взглядом из-под седых кустистых бровей, но я знала эту хмурость: она уже вовсю обсуждала с помощницами праздничное меню, и мое появление только отрывало ее от важного дела.

– Ваша светлость, – Марта вытерла руки о фартук, щедро присыпанный мукой, и уперла крепкие, еще сильные кулаки в бока. От этого жеста веяло такой уверенностью, что я сразу поняла: здесь я гость, а хозяйка – она. – Детей чем кормить прикажете? Господа взрослые потерпят, что дадим, а малышне нужно особенное. Нежное, но сытное. И сладкое, но в меру, чтоб животы не болели.

Мы полчаса перебирали варианты. Я стояла у большого дубового стола, иссеченного ножами за долгие годы, и мучительно вспоминала, что любила в детстве. Но мои воспоминания были земными, чужими для этого мира – манная каша с комочками, школьные завтраки, мамины блинчики по воскресеньям. Здешним детям нужно было другое. Тогда Марта махнула рукой – широкой ладонью с натруженными пальцами – и сказала, что сделает все сама, как для родных. «У меня их трое было, ваша светлость, и внуков пятеро. Небось не отравлю». Я доверилась ей и ушла с чистой совестью, зная, что еда будет не просто вкусной – она будет правильной, домашней, с любовью.

Потом была детская. Я поднималась по лестнице и чувствовала, как сердце бьется быстрее – от предвкушения, от странного волнения. Комната, где никто не жил уже много лет – при Эльзе детей не было, а при мне и подавно. Я толкнула дверь и вошла в большое, залитое солнцем пространство, где каждая пылинка танцевала в лучах, где пахло застоявшимся воздухом и сухим деревом. Я распахнула окна – створки жалобно скрипнули, не привыкшие к движению, – впуская весенний воздух с запахом сырой земли и набухающих почек, и долго стояла посреди пустой комнаты, закрыв глаза, представляя, как завтра здесь будет шумно. Кроватки – их было две, с высокими решетками для младших, и одна побольше, для старшего мальчика, с деревянными столбиками по углам – стояли застеленные тяжелыми, зимними покрывалами темно-бордового бархата. Я поморщилась. Это для стариков, не для детей. Я велела принести легкие, весенние – светлые, с вышивкой, – и цветов побольше. Элинон любила цветы. Я помнила это из памяти Эльзы: как она, еще невестой, приезжала в этот дом и бродила по саду, срезая все, что попадалось под руку, а потом расставляла букеты по всему дому, наполняя его жизнью.

В кладовой на третьем этаже, куда я забралась сама, не доверяя слугам, стоял запах нафталина и времени. Сундуки, коробки, старая мебель под чехлами. Я отыскиала игрушки – деревянных лошадок с облупившейся краской и настоящими гривами из конского волоса, кукол в пыльных, выцветших платьях из парчи и шелка, книжки с картинками – потрепанные, с пожелтевшими страницами, но такие живые, такие настоящие. Наверное, это осталось от самого Маркуса, когда он был маленьким и гостил здесь каждое лето. Я аккуратно, почти благоговейно, протерла каждую вещь мягкой тряпкой, вдыхая запах детства – чужого, но от этого

не менее трогательного – и расставила на полках в детской. Пусть дети играют, если захотят. Пусть трогают, ломают, теряют – лишь бы смеялись.

После обеда, который я проглотила на ходу, стоя у окна в малой гостиной и глядя, как садовник возится в саду, я вышла на улицу. Но уже не грустить, не прятаться от мыслей, а смотреть, какие цветы можно срезать для букетов. Садовник, старый ворчливый Томас с вечно красным носом и руками в земле, ходил за мной по пятам и ворчал, что рано еще, что погублю все, что нарциссы только-только раскрылись, а яблоню жалко. Я не слушала. Я выбирала ветки, прикладывала их одна к другой, составляла букеты прямо в саду, на траве. Нарциссы – ярко-желтые, пахнущие медом и чуть-чуть сыростью. Несколько веток яблони с тугими розоватыми бутонами, которые вот-вот лопнут и выпустят белое кружево. Чуть позже, у дальней стены, где солнце грело сильнее, я нашла сирень – она уже набирала цвет, тяжелые кисти еще зеленые, но кое-где уже виднелись лиловые глазки. Мы набрали огромные, необъятные охапки – я, Томас и подоспевшая на подмогу молоденькая горничная, – и я сама, не доверяя никому, носила их в дом, расставляла по вазам. В гостевых комнатах – нежные, светлые букеты. В столовой – пышные, торжественные. В гостиной – скромные, но душистые. Дом наполнялся цветами, как наполняется дыханием человек, который долго был без воздуха.

К вечеру я выдохлась так, что ноги гудели и отказывались идти, спина ныла от бесконечных наклонов, а руки пахли зеленью и землей, несмотря на то, что я мыла их уже раз пять. Краем глаза я замечала, как слуги переглядываются – графиня, которая всегда была спокойна, отстраненна, почти надменна, вдруг носится по дому как угорелая, лезет во все дела, командует, суетится. Но мне было все равно. Хорошая усталость, правильная. Та, после которой спишь без снов, проваливаешься в темноту и не видишь ничего до самого утра.

Ужинала я одна, как обычно. Столовая в вечернем свете казалась еще огромнее, чем днем, – длинный стол, за которым могли уместиться тридцать человек, а сидела только я, на самом краю. Тяжелые серебряные подсвечники с высокими белыми свечами горели ровно, но уюта не прибавляли – только отбрасывали длинные, дрожащие тени на стены, на гобелены, на мое бледное лицо в темном окне. Я быстро проглотила суп – какой-то, даже не почувствовав вкуса, – и кусок мяса, который жевала механически, думая о своем. Мысли были уже не здесь, не за этим столом. Они были в завтрашнем дне, в стуке копыт на подъездной аллее, в детских голосах, которые разбудят этот дом.

После ужина я поднялась к себе, в свою спальню, где уже горел камин и пахло сухими травами. Переоделась в домашнее платье – свободное, легкое, из мягкой шерсти – распустила волосы, и они тяжелыми темными волнами упали на плечи, закрыв спину почти до пояса. Долго сидела перед зеркалом, глядя на отражение при неровном свете свечей. Темные глаза, в которых за два года появилось что-то новое. Раньше в них была только усталость – тупая, привычная усталость от бесконечного рабочего дня, от вечной гонки. Потом, когда я стала Эльзой, в них появилась растерянность, страх, а следом – тишина. А теперь? Спокойствие? Мудрость? Или просто усталость – но уже другая, не от беготни, а от одиночества? Я всматривалась в свое лицо – чужое и одновременно родное, которое успело стать моим, – и не находила ответа.

Я подняла руку, коснулась пальцами холодного стекла, обводя контур своего отражения. Завтра все изменится. Завтра этот дом оживет. А послезавтра? А через неделю? Я отогнала мысль, не дала ей оформиться. Не сейчас. Сейчас не время думать о том, что будет потом. Сейчас нужно просто дожить до завтра, дожидаться, встретить, улыбнуться.

Я взяла с прикроватного столика книгу. Корешок был чуть потрепан – значит, читали уже не раз, – а на обложке, несмотря на строгий запрет библиотекаря, красовалась яркая картинка: прекрасная леди в развевающемся платье бежала куда-то навстречу закату, а за ней, на лихом коне, скакал отважный рыцарь в сверкающих доспехах. Любовный роман. Один из тех, что тайком привозили из столицы, прятали под подушки и читали ночами, заливаясь краской стыда и удовольствия. Глупая история про страсть, ревность, невероятные совпадения и обя-

зательный счастливый конец. Раньше, в моей прошлой жизни, я бы фыркнула, закатила глаза и отложила такую книгу, даже не открыв. Слишком наивно, слишком далеко от реальности, где мужчины не скачут на конях, а сидят в офисах за мониторами, а любовь чаще всего заканчивается не поцелуем под луной, а взаимными упреками и дележкой имущества.

Но здесь, в этом мире, эти книги стали моим тайным удовольствием. Стыдным, как шоколад, который ешь тайком на ночь, но оттого еще более сладким.

Я забралась в постель с ногами, подоткнула тяжелое пуховое одеяло со всех сторон, создавая уютный кокон, зажгла свечу на тумбочке – тонкую, восковую, с ровным спокойным пламенем – и открыла книгу на заложенной странице. Тишина в спальне стояла такая плотная, такая глубокая, что было слышно, как потрескивает фитиль, как где-то далеко, в стене, скребется мышь, как ветер за окном чуть шевелит тяжелые шторы, и они издают едва уловимый шелест. За окном темнело, небо из сиреневого становилось глубоким, чернильно-синим, и первые звезды уже проклевывались в вышине, холодные и далекие.

Я читала. Читала про то, как героиня, прекрасная леди Изольда, ждала своего возлюбленного в замковой башне, как сердце ее билось быстрее при одном его имени, как она вглядывалась в туманную даль, надеясь увидеть там знакомый силуэт. Слова лились плавно, сладко, обволакивали, как теплый мед. Я почти физически чувствовала этот ветер с ее лица, эту щемящую тоску в груди, эту надежду, которая не умирала, несмотря ни на что.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.